

Александр Лайко

РУИНЫ

помпейские, московские
и берлинские хроники

поэма

Александр Лайко
Руины. Поэма.

Александр Лайко
РУИНЫ

Поэма

© Александр Лайко, Берлин. 2023

Редакторская правка и корректура:
Михаил Горелик

Компьютерная вёрстка
и оформление:
Иосиф Малкиэль

*Мнёт нам бока огромной толпою
Сзади идущий народ:
Этот локтем толкнёт или палкою крепкой,
Иной по башке тебе даст...*

Децим Юний Ювенал

*И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первым днём.
Александр Пушкин*

* * *

Для русской кисти, вероятно, первый,
Но горожанам было невдомёк,
Что их последний, нонешний денёк,
Приманкой станет для туристской хевры.

Звенят экскурсоводочкины нервы —
Звучит её зазубренный урок,
Хотя подсел заметно голосок,
И в ярости шипят глухие стервы.

Голландке тощей на один зубок
Кусище вегетарианской пиццы...
Ну а теперь — спешит вперёд пробиться,
Получше видеть, слышать, приобщиться...

Вот только финки — под балдой сестрицы —
Теснят её, толкая в грудь и в бок.

Малыш пронзительно свистит в свисток,
Увещевая сына, мама злится...
С кем бы принять желаемый глоток?
Разноплеменные оглядывая лица,
Понятно россиян здесь нету.
Ну, что ж, приходится смириться,
И поменять глоток на сигарету.

* * *

Попав на этот праздник любопытных,
Я всё же убежал глазающей толпы,
И там, где битые колонны, аль столпы,
И несколько глотков свершив солидных,
Услышал ржание однокопытных,
Гром колесниц, мечей глухой металл...
Вдруг над ареною предсмертный стон восстал
Под дикий рёв трибун и лож элитных:
Один из гладиаторов упал —
Громадный и рыжеволосый галл
Лежал, презрением прижатый к полу.

Утихла брань. Амфитеатр ждал.
И пальчик был опущен долу.

* * *

Жест этот по истории блукал —
В словах вождей, газетах и плакатах —
Ах, Бог ты мой, какие всё же каты
Ревлюциённый громоздили бал!

В Москве расстрельный посещал подвал,
Был вхож к поставленным высоко лицам.
Сам не стрелял несчастных по темницам,
Но вдрызг накокаинным девицам
Казнь, как десерт, на ужин подавал.

* * *

В семнадцатом на даче летом,
Не ведая, что осень их убьёт,
Обласканный закатным светом,
Пьёт чай собравшийся народ.

А на террасе – тени сада
И серебрится самовар,
Баранки, «Шустовъ». С ними рядом
Конфekt изысканный набор.

Вот две прекраснейшие дамы.
Меж них – пехотный офицер
Глаголит (слушальницы немые)
О русской смуте, например.

В рядок сидят три гимназистки
(Холста светлеет колорит!)
И видят, наклонившись низко,
Как юнкер тихо струны строит

* * *

*«Будете хорошо работать –
будем хоронить в гробах!»*
/Речь начлага перед строем заключённых/.
Из письма Аркадия Белинкова

Вот часть человека, ставшая вещью,
Улыбка чернеет, и холод в кости.
Космос в глазницах клубится злоеще –
Звезда ли родится, змея просвистит?
Марс над страной восходит и блещет,
И пастыря нет, чтобы стадо спасти.
– Ах, во саду ли! – мотивчик из вещей –
Кровища захлещет, траве не расти.
Странно подумать – косицы висели.
Эй, девица, где ты гуляла? Ау!
В твои позвонки отзвонили метели,
Поскольку не всем эта честь – во гробу.

* * *

Памяти Константина Михайловича Кузнецова

Ткаченко — лейтенант, педант и дока,
Возможно, жив служивый до сих пор,
На жирной пенсии седой бугор —
«Шпионам польским» всяко лыко в строку

Вставлял, мотал расстрельный приговор,
Ткал полотно и сеть кидал широко:
В неё мой дед попал в мгновенье ока —
Худой и с тросточкой на фоне гор,

Улыбчивый на пожелтевшем фото.
А дальше — исполнителей работа,
Подвал да желобок для стока,
Где мужички с похмелья сладят кару,

Когда трамвай и алый свет с востока
Пойдут гулять-бренчать по Краснодару.

* * *

Эй, опричники!
Зубы. Смех.
Князьи доченьки —
Эх!

Прядью шёлковой —
С голенища грязь.
Плетью щёлкает.
— Что ты, князь?

Эй, опричники!
Ой, да ах!
— Челобитчики?
В пах!

* * *

Век девятнадцатый, железный...
Верней, как прочие, болезный.
А девушки прелестны и в цвету
Стоят и в воду смотрят на мосту.
Искрясь на солнце, плещет влага,
Век без чекистов и Гулага,
И в небе только лунный свет,
А не вождя, блестит портрет.

Давай-ка к Яру, взяв пролётку,
Прополоскать смирновкой глотку!
Под сенью милых девушек в цвету,
Под звуки скрипки пить за красоту,
Быть не от водки, а от счастья пьяным
И «лебедя» послать цыганам.

* * *

Ночь на Москве – спасение моё,
Когда нет сторожа и нет соседа.
Неспешно продолжается беседа,
И я один, а значит мы вдвоём.

Так что мне собеседник ниспошлёт?
Посконный быт? Неряшливую старость?
Души постыдную усталость
И лестницы темнеющий пролёт?

Но что есть смерть? Что сказ про рай и ад?
Благая весть покоя и свободы
Вдруг коммунальные обрушит своды
И свяжет со стрижами взгляд.

* * *

Вот мы и визави с тобой, Везувий.
Я отбезумствовал, и ты затих.
Что говорить? Свершим же на двоих!
Недаром старочку издалека везу я.

А кипарисами с холмов твоих
Отмечены полотна кватроченто,
Которые я изучал зачем-то,
Да ты и сам — лишь отголосок их.

Нежней небес и твёрже тверди
Искусство. Даже сны его
Сильнее жизни, да и смерти,
Хотя оно не значит ничего.

* * *

Сене Гринбергу

Эпоха «Старопрамен» и «Праздроя»,
Когда я, ты, Мишо — мы трое —
Входили
И в этот мир, и в ресторан.
Крахмалом скатерти слепили,
Смеялись мы и пиво пили.
Был каждый бестолково пьян
От молодости ли, от любви ли...
Нас будущее не страшило,
Смысл дней по летнему был прост —
Поэзия, она нас уводила
Из «Пльзеня» через Крымский мост
На площади поэм и скверы триолетов,
К мелодиям стихов...
Что говорить об этом?
А если говорить, не хватит слов.

* * *

Всё-то в песнях — берёзы да девичьи косы...
Съела вша их рассейская, али парша,
И шишига мило й так залапил берёзы,
Что чернеет корою их рабья душа.

Ах, ты, травка-полынь, ты, запетая травка,
Запашок свой державно и горько завей —
Как на каждом суку, да пенькова удавка,
Да закашлялся кровью в листве соловей.

* * *

Юре и Свете Карабчиевским

Как странно, я всё жду. Всё кажется придёшь,
Тесёмки обветшалой папки расплетёшь,
И, словно в Тёплом стане, как когда-то,
Прочтёшь — заснеженный и бородатый —
Стихи... И, право, что тебе пивной галдёж?
Я продолжаю жить в раздолбанном Берлине.
Его, столицу рейха, украшают ныне —
Объединение, но в нём прогал, зазор:
Объединенье — да, а единенье — вздор,
Но нынче Рождество, огни и снег, и иней...
Признаться, не видал баркасов здесь во льду,
И всё ж задумывал, и много раз в году,
Что забредём сюда мы, может статья,
И: «Бюргерброй»... В разлив... В тени акаций...
Я эту кнайпу и зимой имел в виду.
Роятся мотыльки — рождественские свечи.
Ты что-то говоришь, подняв худые плечи,
И красит женщину свечей неяркий свет.
Три года как тебя на этом свете нет,
И два как нет её, и времечко не лечит.

«Прощание с друзьями» — так называлась поэтическая книга Ю.Карабчиевского, которую он сдал в печать перед кончиной и готовую не успел поддержать в руках.

* * *

Скажи, Везувий, сколько лет подряд
В предгорье ты глядишь комедь людскую?
И вдруг, до рвоты злобясь и тоскуя,
На город обращаешь камнепад.

Что делать? Кто тут виноват?
Извечные и русские вопросы.
И в Питере ответили матросы
На них в семнадцатом, упившись в мат.

И лавы пламенеющий каскад,
Мерцая, сводит лес, ползёт по склону...
Почто безжалостно и неуклонно
Помпеи обращаешь ты во ад?

Наверно, и утихнуть был бы рад —
Тяжёлая тебе досталась доля.
Когда б на это ни Господня воля,
Помпеи погубил бы ты навряд.

* * *

Ни пить, ни петь почти не стоит,
Но кельнер пред тобой стоит.
Когда ты загнан и забит,
Когда тебя в тепле знобит
Полночной кнайпы —
Сядь за столик.
Послушать тишину? Навряд.
Здесь кружки бродят невпопад,
Хохочут девицы до колик,
В табачных плавая клубах,
В бровях серёжки и пупах.
Возьми холодной водки шкалик
И слушай: снег шуршит на поле
Ваганькова ли, Вострякова...
За тех, кого не встретишь боле,
Ты выпей. И наполни снова.

* * *

Berlin.
Bier-lin.
Bär-lin.
И лин(и я) форсажа розовеет
В закатной Шпрее.
А над нею
Осенний лист кленовый летит,
Покачиваясь, в зенит,
Жёл(той!)
Шестиугольной
Звездой реет
В закатной Шпрее.
Bär-lin
Bier-lin.
Berlin.

* * *

Жёлтый лесок
И песок на аллейке,
Звёзды на куртке,
Пальто, кацавейке.
Старухи безумье,
Детей уговоры,
Рыданье, молчанье,
Слово из Торы.
Желтеет молитва,
Как бельма у ребе.
И жёлтое облако
Сладилось в небе.
И музыка, музыка
Воздух рвала -
Тум-ба-ла,
Тум-ба-ла,
Тум-ба-
Ла-ла...

* * *

В девятый до сентябрьских календ
День солнечный и вместе с тем не жаркий,
Упущен Плинием был тот момент,
Когда в судьбу его вмешались Парки.

Но знак был дан, и со ступеней арки
Он видел в небесах неверный свет
/я в честь его глотнул из фляги старки,
Таясь — не дай Бог — итальянский мент!/.

И облако — как будто роща пиний,
Одна в одну, не нарушая строй,
Впечатывалась в крой из чётких линий —
Стояло кроной черной над горой.

Послание небес темно порой,
Его не разобрал массивный Плиний,
Ему б на Капри, в рай зелёно-синий,
Жить-поживать, худеть... А наш герой...

* * *

На этом острове худел совсем другой,
Хотя всегда был худ и грудью слабый;
Умучили в конец чекистки-бабы,
И стал он кесарю невольным, но слугой.

Нам только снится, так сказать, покой:
Являлась вилла — плиновой не хуже —
И Ходасевич выходил на ужин,
Издалека помахивал рукой.

Но не спалось, стонал, вставал, знобило,
За горло власть кремлёвская взяла.
О, Господи, как быстро тают силы,
Куда ни кинь — везде выходят вилы...

Тень Рябушинского его усыновила
И пролетарским Гёте нарекла.

* * *

...А наш герой своё направил судно
На Стабии и пересёк залив.
Стояли черные дымы вдали...
И это Стабии? Поверить трудно.

Повозки, всадники — народ валит
Дорогой в порт, а там столпотворенье,
А вот для вора — чудное мгновенье,
Но о любви не грезит, паразит.

* * *

Такой же на Москве присутствовал бедлам,
Когда вождя препровождали в путь последний.
Хотя не верилось — бессмертным был намедни —
И вот в Колонном он с цветами пополам.

Звала свидетелей крикливая мадам
В своём кармане обнаружив чью-то руку.
В смертельной давке, двигаясь по кругу,
Кричала хрипло щипачу: «А по мордàm?!»

Желанье сполнить это — не с руки зело,
В тусовке жуткой и рукой не двинуть.
А вор свою не может из кармана вынуть —
С отчаянья они плюют друг в друга зло.

А от вокзалов Подмосковье шло и шло,
На Сретенке смешались в кучу кони, люди...
Гора галош — всем

общим

памятником будет!

И особенно тем, кому не повезло.

* * *

И сносятся дома. Балдой железной —
Ха! — в стену. Гром! И оседает пыль.
И в этом хламе, груде бесполезной, —
Клочок верже, трепещущая быль:

«Вчера ещё (потёртость) мой любезный,
Сегодня же (не разобрать) не Вы ль?» —
Клочок до чрезвычайности облезлый,
Но можно прочитав «... автомобиль...

Уехали в Сокольники на дачу...
Не гимназистка, и давно не плачу,
Будь счастлив, милый. И Господь с тобой!»
Слезой здесь размыто, не иначе,
И завиток лихой, и дата... Значит —
Год до войны. До Первой мировой.

* * *

Не так давно Помпеи откопали —
Амфитеатр, улицы, дома...
Бордель, таверна, термы, и тюрьма,
Без коих эта жизнь полна едва ли.
Она вулканом прервана была,
Помпейцев быт — поэзия и проза —
В различных и любовных позах
Я видел их сожженные тела.

* * *

Сейчас разверзнется, сейчас произойдёт
Решение от бремени и чудо
В который раз означает свой приход —
Плод явится из рваных мышц, оттуда,
И вышней волею жизнь не прервёт
Свой тайный путь и смысл неясный...
И женщина мычит и воеет, и орёт.
Неужто впрямь трудания напрасны —
Всё только блуд и кровь, и пот?..

* * *

В таверне вечером шум, гам и суета,
Жара от варева и раскалённых печек,
Но критское вино так холодит уста,
Что впору заказать горшок бараньих почек.

Гораций мрачными звал злачные места.
И впрямь здесь вонь и грязь, да сброд рабов и нищих,
Подпив, ораторы вещают — как с листа! —
Что Цицерону впору речи говоривших!

Но как без музыки здесь вечер скоротать?
Под флейту, потрясая бёдрами, девица
Выходит, а за ней гостей хмельная рать
Орёт и скачет до упаду — веселится.

* * *

В пивной, как вой,
Клубятся мухи.
Бухой выходит головой.
Дерутся пьяные марухи,
И рухнул кто-то неживой.

В истоме отведённый локоть,
Блаженства соловей в гортани —
Пивец, напившись, будет плакать,
Петь песни горечи и рвани.

Вот добродушие пивное
Цветёт на масляных щеках,
На лицах у других — иное:
Тут — злость, там — пакость,
Просто страх.

А этот — он поверх голов
Летит над трапезой столов,
Кричит:
— Равны,
Сильны,
Страны...
И рвёт рубаху на груди.

Но сотрапезники не смотрят.
Он воет и орёт:
— Гляди!
Но сотрапезники не смотрят.

Тот вспоминает неудачи,
Изрывшие его чело.
И плачет зло,
И злобой платит
Справляющим лихой балет,
Гуляющим по кружке мухам,
Которых давит на столе
И улыбается их мукам.

Из пенсионного бюджета
У старика торчит манжета.
Второй не видно. Видно, нет.
— Ну, ты, старик, не исправим!
— Эсер?
— Кадет?
— Мон шер ами, —
Он тихо молвил, — господа,
Всё так же мир неандертален,
Хотя был Пушкин гениален,
И Кеннеди хороший парень,
Да и де Голль не так уж плох,

Не говоря о том, что Блок
Весьма изысканно лиричен
И поэтичен, и мистичен,
А также космос
И прогресс,
И райсовет,
И райсобес.

* * *

С утра в борделе весело весьма —
Там девочки Маруся, Роза, Рая,
И широко открыты двери рая,
Где нимфы гладкие сведут с ума!

Вот под тунуку руку запусив,
Гончар поддатый с девочкой играя,
Ей говорит: — Послушай-ка, Аглая,
Последней модной песенки мотив.

Ах, Глаша, ты её со мной пропой,
Не зря же всё спустил я на пропой!
И заорал, припав к её груди:
— А Ленин такой молодой
И Юный Октябрь впереди!
За сотни лет предвидел русский хаос,
Ну, просто не гончар, а Нострадамус.

* * *

Повествовал мой друг, что у «Динамо»,
В московской и семидесятой тьме,
Дверь открывала бандерша в сурьме,
С великим бюстом небольшая дама.

Она читала ксеры Мандельштама,
Работниц ненавязчиво пасла —
Замужних большинство из их числа —
Замужние ваще не имут срама.

А за любовь была — смех, а не плата,
Скажу тебе, да просто задарма.
Стол уставляла бандерша сама
Тарелками дежурного салата.

А выпивка — уже пришедших трата.
Но не в почёте водочка у дам,
Желанным пресловутый был «Агдам».*
Сам знаешь, бабы, ну — ума палата.

На шатком столике, с кроватью рядом,
Едва лишь оклемавшись поутру,
Увидел фотографию — не вру! —
И вперился непохмелённым взглядом:

На фото бандерша на фоне стяга,
В компании улыбчивых солдат,
Совсем девчонка, держит автомат,
Стоит в шинели у стены Рейхстага.

*«Агдам» — советский дешёвый портвейн.

* * *

...Вот кормщик бледный, свой скрывая страх,
Сбирается в обратную дорогу,
И Плиний говорит: «...судьба в подмогу
Лишь смелым...», ну и далее в стихах.

Везувиев садится чёрный прах
На Форум, на его пустую площадь,
Ржёт, словно плачет, брошенная лошадь...
Вон дом Помпониана — в двух шагах!

Здесь Плиний принял ванну, а потом,
Болтая весело, и отобедал,
И об Эхиле кое-что поведал —
Внимал Помпониан с открытым ртом.

А дело обстояло просто в том,
Что Плиний знал премного гитик.
Он, ако Фройд, был психоаналитик
И очищал от страха этот дом.

* * *

Но кормщик бледный не силён в стихах,
К отплытию готов. А где же Плиний?
Летящий пепел, что темно в глазах,
Садится густо на дома в долине.

И с бранными словами на устах,
Что камнепад становится обильней,
Бегут стабийцы, как слепцы, впотьмах —
Неужто Зевса гнев или Эриний?

* * *

В Крым скользну за стрижами, а там
К монастырским пойду я воротам,
К разорённым, заросшим садам,
Мусульман переживших воронам,
Кликать юность свою и твою,
И увидеть сквозь душную хвою,
Что с тобой я всё там же стою,
И скала припадает к прибою.
Но за кадром осталась тщета —
Вот одёжка, на вырост пошита! —
Ни кола, ни коня, ни щита,
Толчая, нищета общепита.
Жизнь давно миновала зенит —
Время гонит водицу и пенит,
И мой сон эту бухту хранит,
Где, обнявшись, лежат наши тени.

* * *

В трагедии комедия живет.
Вот, привязавши к головам подушки,
Толпа бежит из городских ворот,
Теряя вещи, детские игрушки...

Стабийцев к порту гонит смертный страх.
В безумной толчее и круговерти,
Даже с подушками на головах,
Ничто их не спасёт от скорой смерти.

А Плиний, несмотря на полноту,
Терзавшую его в пути одышку
И принятую за обедом лишку,
Всё же дошёл до корабля в порту.

— Какой тяжёлый воздух! — он сказал;
Хотя с ним рядом море бушевало.
На берегу, он лёг на покрывало,
Вздыхнул и навсегда закрыл глаза.

К такому столь нежданному концу
Привел его приезд, друзей спасая.
Помпиниан, над Плинием рыдая,
Размазал чёрный пепел по лицу.

* * *

Чем ближе смерть, тем явственней детали
Картинок жизни, каждый шаг и миг —
Полузабытый облик твой возник
В берлинском баре. Помнишь? Да едва ли! —
На Сретенке в стекляшке мы сидели,
Когда раздался грохот, звон и крик —
Скользнувши по столу, упал старик,
Кальсоны из его штанин синели.
Не угадать отсюда свой уход.
Примчит повеса? Докторский уход?
Вполне ведь может вывернуть и так,
Когда в апоплексическом ударе,
Как тот старик, ты попадёшь впросак
На Сретенке или в немецком баре.

* * *

Птица готики: — остроугольная птица,
Вместе с кирхой в берлинское небо взлетает,
И над шпилем её каруселью кружится,
И кричит, словно плачет, и в воздухе тает.

Это плач по тем людям, отстроившим зданье,
Прихожанам, молитвы свои возносившим,
И не ведавшим — грянет пора увяданья,
Станет вера чем-то ненужным и лишним.

И откроют кафе, и в намоленный воздух
Звук попсы усилители громом раскатят.
Молодёжь здесь проводит досуг или отдых,
Травки им и колёс для веселия хватит.

Постепенно и крест будет свергнут со шпиля : —
Толерантность творит, разумеется, благо —
Водрузят полумесяц потомки Шамиля,
А потом доберутся они и до флага.

Птица готики — остроугольная птица,
Вместе с кирхой в берлинское небо взлетает
И над шпилем её каруселью кружится,
И кричит, словно плачет, и в воздухе тает.

* * *

В любовных сердце упадает столах,
В музы'ке вальса, локонах, поклонах;
Гвардеец брав, и князь хорош — ей-ей! —
И маменьки глядят в лорнет на оных,
Загадывая дочечкам мужей.

Ну, что ж, не зван — лишь по усам текло.
С младых ногтей запомнились зело —
Ещё в школярстве — проза и преданья,
Поэзии «страданья-упованья»,
Дворянских гнёзд безумье и тепло.

Вальсируют легко в стране недужной
Виновники её паденья — каждый...
В Берлине допиваю свой бокал.
Умолк оркестр. Короче — кончен бал!

* * *

*Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.*
А. Ахматова

1

Когда концы отдам, но не на русских нарах,
А на германских чистых простынях,
В последний путь отчалою, чуть приняв
За бортом жизни и на оскудевший порох.

Или воздушный шар (а может, просто мыльный)
С рекламой „ZDF“ аль „Morgen Post“
Поднимется... Ну, что же, — в путь! И — Prost!
Но выпивка навряд пребудет здесь обильной.

И сквозь стекло стакана приютивший город
Блеснёт гранитом тротуарных плит,
Квадрига Бранденбургских врат взлетит —
Как бы салют к отбытию в летейский холод.

И вижу подо мной, где всё же потеплее,
Осенний буковый и стройный лес.
Слегка позолотивший край небес,
Он осыпается на волны Мёгельзее

А дале — Кёнигсберг, где готики остатки,
 Где бытовал небезызвестный Кант...
 А нынче на служивых красный кант,
 Но цвета этого здесь шансы очень шатки.

Что ж, время повторить! Ну, для сутрева, малость,
 Пока ещё отход не так тяжёл.
 Уходит Польша, ровная, как стол,
 И за моим плечом Русь Белая осталась...

На встречу с матушкой-Москвой оставлю граммы...
 Вот Бутово — расстрельный полигон —
 Предсмертный тысяч москвичей загон,
 А там — Калитниковские их примут ямы.

И поминаю всех отчизной убиенных —
 Бакинский банщик выпарил страну —
 Расстрелянного деда помяну,
 Планету Колыму и миллионы пленных.

Вот Чистые пруды. Здесь помнят мостовые
 Шаги друзей, которых нет давно,
 И «Аннушку»-трамвай, и «Колизей»-кино,
 Подружек голоса — всё было здесь впервые.

Ах, Анна Андреевна, что-то не вижу
 «Светлого облака в славе лучей»,
 Нет даже облачка в двадцать свечей —
 Да куда ни посмотришь — ни выше, ни ниже...

Та же туча чернеет над тёмной Россией!
 Но не унывает рассейский народ —
 Банщика славит, кадит и поет,
 Вновь играет Малюта откормленной выей.

В небесах заблудился я, как говорится.
 Где ад или рай? И путь к ним каков?
 Знаю, мой рай — переулок Сверчков.
 Там снегопад стеной стоит, и детство длится.

* * *

Тане Кондратович

И вновь я посетил... Но без тебя,
Что было непривычно и не просто,
И вновь парил фигурой
Гóлубя
Монастырей и гор зелёный остров.

Я помню, как встречал нас Акамас,
Встряхнув ухабами своей дороги.
Скатёрку Лала накрывала
Тóтчас,
Гостей своих заметив на пороге.

Ты весела, улыбчива была,
Вино своё нам Лала подавала.
Вдруг что-то в море ты
Увидела,
Едва пригубив солнце из бокала.

В такой звенящий день голубизны
Лицо твоё покрыла тень печали.
И частых мыслей тёмные
Глубины
Тебе уход из жизни предвещали.

Что значит бытия случайный миг,
Нежданный смерти день или рожденья?
Зачем даны? Как всё же хрупок
Мóстик,
Связавший дара жизни эти звенья!

И вновь я посетил... Но без тебя
Места, где мы с тобой бывали вместе.
И что я ожидал всё это
Врэмя?...
Ужель не будет от тебя известий?

* * *

Заката ходят снегири,
Сугроб цифирью зачернили.
На Кировской душок ванили
Из магазина «Чай» сквозит.
И от зари до фонарей
Всего минут пятнадцать ходу,
И переулками в охоту
Кварталы снега прохожу.
А в них пустоты всех ушедших
Хранят былые очертанья,
Так небом, если рухнет зданье,
Хранится долго силуэт.

От автора: часть этой поэмы была напечатана в «Иерусалимском журнале» за 2007 год. Несколько раз я возвращался к этим текстам и вот теперь предлагаю читателям окончательный вариант, куда включены несколько стихотворений из прошлых моих книжек. Вставки эти важны для сюжета, который, мне кажется, здесь присутствует. И он чётче проявляется, когда читаются стихи подряд от первого до последнего.

Москва, Помпеи, Берлин (2007-23)

